[29] Жизнь искусства, 1923, 12 июня; *Толстой А. Н.* ПСС, т. XIII, с. 487—488.
[30] См.: Красная газета, 1924, 1 нояб.; *Толстой А. Н.* ПСС, т. XIII, с. 306.
[31] В кн.: Горький: Сб. ст. и воспоминаний/Под ред. И. А. Груздева. М.; Л.: ГИЗ, 1928, с. 127—128; (10, 120—121).
[32] *Бунин И. А.* Собр. соч., т. 9, с. 444—445.
[33] Лит. Ленинград, 1936, 23 нояб.; *Толстой А. Н.* ПСС, т. XIII, с. 517—518.
[34] См.: Веч. Москва, 1936, 15 нояб.; *Толстой А. Н.* ПСС, т. XIII, с. 517—518.
[35] См.: *Крестинский Ю.* Письмо А. Н. Толстого о Бунине.— Лит. наследство. М.: Наука, 1973, т. 84. Ив. Бунин. Кн. 2, с. 394.
[36] ИМЛИ, ф. 43, н. п.
[37] Лит. наследство, т. 84, кн. 2, с. 396.
[38] Цит. по кн.: *Бабореко А.* И. А. Бунин: Материалы для биографии, с. 305.
[39] См.: Лит. наследство, т. 84, кн. 1, с. 631.

А. Н. ТОЛСТОЙ И А. А. БЛОК. К ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

О. П. Смола

Познакомился Толстой с Блоком в 1910 г. в доме С. Городецкого.

Блок был старше Толстого всего на два года, однако их положение в литературе этого времени явно неравнозначно. Один — знаменитый поэт, может быть, самая заметная фигура, наряду с Бальмонтом и Брюсовым, в русской поэзии девятисотых годов, и другой — еще только начинающий поэт, незадолго до этого выпустивший свой первый сборник стихотворений «Лирика» (1907).

Несмотря на очевидную подражательность первых стихотворных опытов Толстого, Блок все же обратил внимание на появление «Лирики».

В своих «Литературных итогах 1907 года», помещенных в журнале «Золотое руно», он упоминает о выходе «новой книги стихов нового поэта». Правда, упоминание это вряд ли могло воодушевить молодого стихотворца. Раскритиковав «Утренние звоны» «г-на Владимира Ленского» [1], Блок добавляет: «Кстати, надеюсь, что „Владимир Ленский“ — псевдоним, правда, немного слишком ответственный, но уж тут не нам судить. Мы не удивимся, если на днях выйдут „Вечерние шумы“ самого Александра Пушкина, тем более что недавно вышла новая книга стихов нового поэта — графа Алексея Толстого» [2].

Как воспринял иронию Блока Толстой и как Блок отнесся к первым прозаическим опытам Толстого, несомненно, более весомым, чем стихи, мы не знаем, но знакомство тем не менее состоялось, и, начиная с 1910 г., постепенно складывается между ними целая «история» отношений — человеческих и литературных. С. И. Дым-

шиц-Толстая рассказывает, что у Городецкого они «неоднократно встречали Александра Блока, на вид несколько замкнутого, охотно читавшего вслух свои стихи, читавшего их с потрясающей простотой и искренностью, без малейшей рисовки, без какой бы то ни было декламационности. У нас Блок не бывал, с Алексеем Николаевичем у него не было близких отношений. В литературной среде многие считали Блока высокомерным и холодным человеком» [3].

Встречи случались, а духовной близости действительно не было. Об этом свидетельствуют немногочисленные прямые и косвенные суждения Блока о Толстом, которые мы находим в дневниках и письмах поэта и которые в какой-то мере приоткрывают завесу над историей их взаимоотношений. Так, в письме к матери от 14 февраля 1911 г. Блок пишет: «Пришел Верховский приглашать меня участвовать в третейском суде между ним и гр. А. Н. Толстым (это очень давняя и грязная история, в нее замешаны многие писатели (секрет!) — но мы будем разбирать только часть — инцидент с ни в чем не повинным Верховским). Я согласился» (VIII, 329). Что это за «грязная история» и какое отношение к ней имеет Толстой, нам неизвестно, но для нас в данном случае важна не сама эта история, важно просвечивающее сквозь нее отношение Блока к Толстому.

Через восемь месяцев, 20 октября 1911 г., Блок записывает в дневнике: «Безалаберный и милый вечер. Кузьмины-Караваевы, Елизавета Юрьевна читает свои стихи и танцует. Толстые — Софья Исааковна похудела и хорошо подурнела, стала спокойнее, в лице хорошая человеческая острота. Тяжелый и крупный Толстой рассказывает, конечно, как кто кого побил в Париже» (VII, 75). В это же примерно время Блок вручает (пересылает?) Толстому только что вышедшую книгу своих стихов «Ночные часы» с дарственной надписью «Алексею Николаевичу Толстому с приветствием. Александр Блок. Ноябрь 1911» [4].

29 декабря 1911 г. Блок отмечает в дневнике: «Избегаю людей, приходил Толстой, Таня не приняла его.— Тяжелый вечер» (VII, 113).

И, наконец, в дневниковой записи Блока от 17 февраля 1913 г. мы находим развернутое суждение о пьесе Толстого «Насильники». Постановка этой пьесы в Малом театре вызвала разноречивое, но во всех случаях «страстное», по выражению Толстого, отношение со стороны зрителей и критики. Так, театральный рецензент журнала «Маски» писал: «Редкая пьеса последнего времени так выделялась яркостью красок и силой замысла, как „Насильники“ гр. А. Н. Толстого. И редкая пьеса собрала столько друзей и столько врагов автору своими контрастами, переплетением трагического с водевильным» [5]. О пьесе высказывается и Блок: «На днях мы с мамой (отдельно) прочли новую комедию Ал. Толстого — „Насильники“. Хороший замысел, хороший язык, традиции — все испорчено хулиганством, незрелым отношением к жизни, отсутствием художественной меры. По-видимому, теперь его отравляет Чулков: надсмешка над своим, что могло бы быть серьезно, и невероятные положения:

много в Толстом и крови, и жиру, и похоти, и дворянства, и таланта. Но, пока он будет думать, что жизнь и искусство состоят из „трюков" (как нашептывает Чулков,— это, впрочем, мое предположение только),— будет он бесплодной смоковницей. Все можно, кроме одного, для художника; к сожалению, часто бывает так, что нарушение всего, само по себе позволительное, влечет за собой и нарушение одного — той заповеди, без исполнения которой жизнь и творчество распыляются» (VII, 221).

Весь комплекс нравственно-эстетических представлений Блока исключал даже малейшее отступление от того, что он называл «красотой долга». Акт творения так же серьезен и труден, как акт рождения, считал Блок[6], и потому всякого рода «водевильность», «надсмешки», «невероятные положения», «трюки», которые он усмотрел в пьесе «Насильники», не могли не вызвать в нем решительного осуждения. Надо сказать, что и сам Толстой, рассказывая о том, как создавалась пьеса, отмечал «своеволие» ее персонажей: «Я выпустил на свободу кучу растрепанных, оголтелых людей и только следил растерянно, что они вытворяют. Они жили сами по себе. Я написал уже семнадцать картин, а в конце еще и конь не валялся»[7].

На этом дошедшие до нас блоковские высказывания о Толстом заканчиваются. Имел ли Толстой достаточно ясное представление об отношении к нему Блока? А. Л. Дымшиц вспоминает: в беседе с ним Толстой однажды обмолвился, «что Блок его недолюбливал»[8]. Сын писателя Дмитрий Толстой так объясняет причины «холодности» Блока к отцу: «Слишком несхожи были эти люди: Блок, „классик" по воспитанию, и молодой Алексей Толстой, окончивший реальное училище и два курса Технологического института. Они не могли сойтись. Отец тянулся к общению с Блоком, тот был подчеркнуто холоден с ним. Для Блока молодой Толстой был слишком груб и провинциален, хотя он и признавал в Толстом талант»[9].

Между тем история отношения Толстого к Блоку и его творчеству только-только начинается. Если Блок, что называется, выдерживал дистанцию, то Толстой тянулся к нему, старался преодолеть эту дистанцию, хотел понять поэта. Интересным с этой точки зрения представляется рассказ Толстого о его последней встрече с Блоком. При внешней сдержанности интонация этого рассказа, спокойная и ровная, не скрывает уважительного отношения к поэту, оказавшемуся в столь непривычной для него роли. «В январе 1917 г. морозным утром я, прикомандированный Земгором к генералу М., объезжавшему с ревизией места работ западного фронта Земского союза, вылез из вагона на маленькой станции, в лесах и снегах, и пошел к городку фанерных бараков, где было управление дружины. Мне было поручено взять сведения о каких-то башкирах, которые, кстати сказать, тогда еще не воевали, но работали в дружинах, сытые, холеные, размордевшие на хорошей жизни. Меня провели в светлый, жарко натопленный фанерный домик, где стучали дактилографисты, и побежали за заведующим. Через несколько минут, запыхавшись, вошел заведующий, худой, рослый, красивый

человек, с румяным от мороза лицом, с заиндевевшими ресницами. Все что угодно, но я никак не мог ожидать, что этот заведующий Александр Блок. Он весело поздоровался и сейчас же раскрыл конторские книги. Когда сведения были отосланы генералу, мы с Блоком пошли гулять. Он рассказал мне о том, как здесь славно жить, как он из десятников дослужился до заведующего работами, сколько времени он проводит верхом; говорили о войне, о прекрасной зиме... Когда я спросил, пишет ли он что-нибудь сейчас, он ответил равнодушно: „Нет, ничего не делаю". В сумерки мы пошли ужинать в старый, мрачный, помещичий дом, где квартировал Блок. В длинном коридоре мы встретили хозяйку, увядшую женщину,— она посмотрела на Блока мрачным глубоким взором и гордо кивнула, проходя. Зажигая у себя лампу, Блок мне сказал: „По-моему, в этом доме будет преступление". Это была моя последняя встреча с Блоком».

Статья «Падший ангел» [10], откуда извлечен этот рассказ и о которой речь впереди, написана уже после смерти Блока, но и при жизни поэта Толстому представлялись случаи проявить свое отношение к автору «Двенадцати». И. Эренбург, рассказывая о том, какое впечатление произвела в писательской среде революционная поэма Блока, воспроизводит отрывок из бунинских воспоминаний: «Московские писатели,— пишет Бунин,— устроили собрание для чтения и разбора „Двенадцати", пошел и я на это собрание. Читал кто-то, не помню, кто именно, сидевший рядом с Ильей Эренбургом и Толстым. И так как слава этого произведения, которое почему-то называли поэмой, очень быстро сделалась вполне неоспоримой, то, когда чтец кончил, воцарилось сперва благоговейное молчание, потом послышались негромкие восклицания: „Изумительно! Замечательно!"». И уже от себя Эренбург продолжает: «Бунин далее излагает свое выступление — он поносил „Двенадцать", называя поэму „дешевым, плоским трюком". „Вот тогда и закатил мне скандал Толстой; нужно было слышать, когда я кончил, каким петухом заорал он на меня..." Я вспоминаю тот вечер. Алексей Николаевич тогда во многом сомневался, но слова Бунина о поэзии Блока он назвал кощунством» [11].

7 августа 1921 г. Александр Блок умирает, и Толстой тут же откликается на смерть поэта. В парижской газете «Последние новости» он помещает статью под названием «Падший ангел». Статья известна лишь самому узкому кругу специалистов, а между тем она многое дает как для уяснения темы «Толстой и Блок», так и для понимания некоторых сторон и свойств художественного сознания Толстого в годы эмиграции. Она представляет собой литературный портрет, в котором эпизоды жизни поэта и впечатления от личных встреч с ним перемежаются размышлениями о его творческой эволюции, поэтической судьбе.

Начинается статья с того, что кто-то из друзей Толстого назвал Блока «падшим ангелом». Потому и хочется, пишет Толстой, «восстановить в памяти портрет поэта: действительно ли песня, которую он спел на земле, была песней падшего Ангела? Почему такой тра-

тической правдой звучит определение? И почему через него поэт становится близок, как собственное сердце?»

Поставленные вопросы заключают в себе, с одной стороны, желание как бы проверить истинность столь ответственной характеристики и одновременно оценки Блока, а с другой — готовность уже сейчас, до проверки, согласиться с этим утверждением, звучащим, оказывается, «такой трагической правдой». В статье мы находим замечательные прозрения, свидетельствующие о глубоком постижении Толстым чрезвычайно сложной сути Блока — человека и поэта, и вместе с тем — непонимание каких-то очень существенных особенностей его духовного развития, без учета которых целостный облик поэта не складывается.

Обрисовав общую картину развития русской поэзии на рубеже двух веков, автор статьи пишет: «В это беспокойное время Блок принес с собою высокую любовь к Владимиру Соловьеву, к Фету, Тютчеву. Казалось — он был посвящен ими, чтобы указать ближайший путь русскому искусству, крутившемуся в водовороте исканий и революционного возбуждения.

К этому времени относится событие в личной жизни Блока: встреча его с М., одной из тех удивительных русских девушек, мечтательных, нежных и чистых, влюбленность в которых создала вдохновенные страницы в русской литературе. Пламенная душа Блока прикоснулась к ясной чистоте девичества, и была написана книга „Стихи о Прекрасной Даме". Книга эта, разумеется, не была ни понята, ни принята читателями, кроме избранного кружка. Стихи были слишком не похожи на то, что принято было писать. Их форма была прозрачна, без твердых очертаний. Их ритм был взволнованный, неровный, неуловимо-улетающий. Их образы были странны и совершенно непонятны, в те времена, когда казалось, что вот еще немного,— грянет революция, будет немедленно и целиком осуществлена социалистическая программа и восторженный русский народ немедленно же и абсолютно станет счастливым.

В стихах о Прекрасной Даме говорилось о каких-то чудаках, слушающих „шорохи и стуки"; о предчувствии прихода Той, кого ждут,— Прекрасной Дамы; о трепете ожидания, когда уже чудятся Ея шаги и вот-вот раздастся стук в дверь; о восторге первого видения, когда из Горящей Купины, из сердца, появляется сияющий призрак и исчезает в выси; о молитвах влюбленности к улетевшей; о мечте улететь за нею в Горний Терем.

В книге было неясно — кто же Прекрасная Дама? Пречистая, Непорочная Девственность, смерть? Почему вся книга была пронизана такою пронзительной печалью? А, кроме того, о каких там, черт возьми, говорить неуловимых призраках, когда Прекрасная Дама — русская Революция, вот-вот стукнет в дверь, войдет и сядет, румяная, земная, веселая.

Так это все тогда казалось. Блок ни на чем не настаивал, будто он и сам не понимал — о чем было написано в книге. Когда его спрашивали: „Ну, хорошо, объясните мне сами, что значит это: «Уронила матовые кисти в зеркала...»?" — он со слабой улыбкой

прекрасных губ отвечал простодушно: „Уверяю вас — я сам не знаю"...»

В представлении Толстого о начальном отрезке пути поэта нет, кажется, ничего особенного — оно совпадает с представлениями многих, писавших тогда о Блоке. Оригинальность и глубина Толстого-интерпретатора обнаруживаются в том, как он отвечает на вопрос, волновавший читателей во все времена,— кто же она, эта Прекрасная Дама, и почему посвященные Ей молитвенные стихи пронизаны «такою пронзительной печалью»? Можно было бы ответить на этот вопрос просто и точно: это книга о любви, о Возлюбленной, пригрезившейся поэту в облике Прекрасной Дамы как источника и символа Вечной Женственности, Красоты, Добра и Света.

«А между тем эта удивительная книга была написана о России, о бедной, доверчивой русской душе, снова и снова обольщенной призраком Всеобщего Счастья. Разумеется, Блок ни минуты не думал, что писал книгу о России, он лишь переживал свою влюбленность и вещим, пронзительным взором видел, что она недостижима и невоплотима. Она была недостижима и невоплотима, потому что он был Поэт, потому что через него говорили миллионы голосов, потому что его личная жизнь, Александра Александровича, была подчинена его гению, он был обречен».

В приведенном отрывке есть две замечательные мысли. Первая: книга о Прекрасной Даме «написана о России». Вторая: через Блока в этой книге «говорили миллионы голосов». Даже и на современный взгляд оба утверждения не кажутся бесспорными, хотя сегодня мы, как никогда раньше, понимаем, что между символистским циклом «Стихи о Прекрасной Даме» и революционной поэмой «Двенадцать» пролегает отнюдь не пропасть, что это две крайние точки единого пути, на протяжении которого так или иначе, прямо или косвенно, осознанно или неосознанно Россия, ее образ и ее историческая судьба всегда были источником самых сокровенных чувств и помыслов поэта. По самой романтической сути своей лирика Блока устремлена к идеалу, никогда не достижимому и не воплотимому, но всегда путеводному для Блока. «Он был Поэт» — именно так, Поэт с большой буквы. Поэт как бы неволен в самом себе, хочет сказать Толстой. Он потому и Поэт, что обречен на то, чтобы сугубо личное, даже интимное превращать в общечеловеческое, общественное.

Такое толкование лирики Александра Блока сегодня нас не может удивить. Мы умнее, так сказать, дистанцией прожитого. Мы гораздо больше знаем сегодня о поэте, чем знали его современники. Но нас удивляет глубина проникновения в мир Блока в то время, когда в эмигрантской среде принято было считать, что «Стихи о Прекрасной Даме» — это поэтический взлет гения, а «Двенадцать» — полная и безусловная измена поэта самому себе. Толкование тем более неожиданное, что стихийный демократизм Толстого (через Блока «говорили миллионы голосов») отнюдь не означал того, что он с большим сочувствием принимал радикализм поэта. Напротив, хотя и не столь решительно и, конечно, со своим «укло-

ном», он разделял эмигрантский взгляд на «большевистскую» поэму Блока. Как уже было сказано, статья «Падший ангел» двойственна в своей основе. Путь Блока в целом рассматривается в ней не как очень трудное, пусть трагическое, но восхождение к «Двенадцати» и не как, при всех оговорках, художественно совершенное осуществление духовных потенций гениальной личности, а как порожденное «черной русской ночью» хождение по мукам, принудившее поэта-ангела спуститься с горних вершин поэзии на грешную землю и превратившее его в конечном счете в «падшего ангела». Поэт пал жертвой «страшного мира» — такова, в самом общем виде, концепция статьи.

«В его личной жизни произошла катастрофа,— продолжал Толстой,— о которой здесь я не хочу упоминать, это совпало с катастрофой революции 905 года. Революция была задушена, смертельно раненная русская душа начала разлагаться, под покровом блестящей и шумной жизни — пахло гнилью. Наступала реакция. Блок выпустил вторую книгу — „Незнакомка". Это была иная книга, иного человека. Белоснежный призрак, улетевший ввысь из пылающей Купины, снова предстал поэту: с черного, звездного неба скатилась звезда и прекрасной Незнакомкой, одетой в черное, появилась в улицах города. В тоске глухой и пьяной жизни, среди пьяниц, в кабаке, она проходит мимо поэта, пронзает его взглядом, в нем с новой остротой поднимается тоска...

Эта скатившаяся звезда, эта женщина в трауре, исчезающая за пылью переулка, этот павший Ангел, была душа поэта. Свершилась человеческая трагедия — поэт был принесен в жертву, сброшен с чистых горних высот на унылую землю, всей жизнью своею связан отныне с трагической и страшной судьбой России. ⟨...⟩

Этот период падения, охватывающий треть всех творений Блока, принято называть временем упадка, декаданса. Действительно, как могли здоровые, живущие изо дня в день люди понять поэта, расточавшего себя, опустошавшего свою душу? Как можно было знать, что его вещий взор видел в грядущем все более сгущавшуюся, все более черную русскую ночь. Его называли пессимистом, пожимали плечами. А его душа изнемогала от тоски — ему некуда было убежать от гибнущей России, от самого себя.

Он был павшим Ангелом, он был каждым из нас. Его душа была мрачна. Он все более уединялся от людей. Он говорил обычно мало. Был приветлив и сдержан. На его прекрасном лице легли следы бессонных ночей. Телефон в его квартире работал только четверть часа в сутки. В то время говорили, что Блоку нужно поехать полечить неврастению — нельзя же, в самом деле, отравлять здоровым людям пищеварение постоянным напоминанием о смерти, о гнили. Были такие, которые в простоте души думали, что нужно жить „по Блоку", и на все ночи закатывались в кабаки, искали там незнакомок с „крылатыми глазами".

В Блоке словно истлело все, что было его, личным, все, что его, лично, привязывало к жизни, и понемногу освобождалось в нем человеческое, великое. Он без пощады жег себя на огне страстей и

тоски. Бывали недолгие вспышки влюбленности, и тогда появлялись книги колдовского очарования. Так, зимой, однажды, в театре, где шла его пьеса, он встретил В., ту, которую называли, впоследствии, „Снежная маска"...»

Толстой настойчиво проводит мысль о кровной связи Блока с «трагической судьбой России». В развитие этой самой значительной идеи статьи можно было бы сказать, что Толстого восхищает в Блоке не столько даже сама по себе эта связь, сколько не знающая равных работа совести в нем, его великая духовная потребность преодолеть пропасть, отделявшую русскую художественную интеллигенцию начала века от народа, его нескончаемые попытки наладить связь с «миллионами», постоянно нарушаемую то вековыми традициями высокородного дворянства, носителями которых были он сам и его окружение, то семейным воспитанием, то эстетикой избранничества и декадентства. «В Блоке словно истлело все,— пишет Толстой,— что было его, личным, все, что его, лично, привязывало к жизни, и понемногу освобождалось в нем человеческое, великое». Нет сомнения, что укрупнение или, как говорит Толстой, «освобождение» в Блоке человеческого, великого происходило по мере усиления и углубления в нем элементов демократизма. Однако тревогу и боль Блока, вызванные общим неблагополучием жизни, Толстой непосредственно связывает с утратой в поэте личного начала, того начала, которое некогда было источником всего комплекса ощущений «Стихов о Прекрасной Даме», которое чуть позже, в недолгие минуты влюбленности, рождало «книги колдовского очарования». Из принципа несовместимости личного и «человеческого, великого» и возникла у Толстого концепция жертвенности Блока: «Свершилась человеческая трагедия, поэт был принесен в жертву, сброшен с чистых горних высот на унылую землю, всей жизнью своею связан отныне с трагической и страшной судьбой России».

Утверждаемая в «Падшем ангеле» концепция трагической судьбы и жертвенности свидетельствует о том, что Толстой схватил самый нерв лирики Блока. Исподволь нараставшее в поэте социально-обусловленное восприятие явлений действительности обретало с годами в его лирике сугубо личное выражение. «Служить добру, не жертвуя собой» — возможно ли? Как русскую литературу XIX в. в целом мы не можем представить себе без ее подвига служения людям и, значит, без ее жертвенности, так и Блок немыслим без его боли и социальной чуткости.

Однако как по-разному можно оценивать истоки и результаты жертвенности — этой, наверное, самой замечательной особенности человеческого духа. Нам кажется бесспорной мысль о том, что трагедия возвышает человека. Возвышает она и поэта. Толстой считает: трагедия Блока в том, что поэт в нем, по воле социальных обстоятельств, принесен в жертву. Трагедия, таким образом, стала для Блока одновременно причиной и следствием «падения» его как поэта.

В духе такого именно понимания жертвенности Блока и как будто даже удивления перед неожиданностью случившегося воспринял Толстой поэму «Двенадцать». «Тогда, казалось,— восклица-

от он,— можно было задохнуться от негодования и от ярости: Блок стал большевиком!» Но проходит время, и появляется возможность аналитически оценить это крупнейшее произведение советской поэзии первых лет революции.

«Недавно я опять перечитал „Двенадцать",— пишет Толстой,— и мне стало ясно все выше написанное. В „Двенадцати" Блок с небывалой у него до того силой пронзил ясновидящим взором грядущее. ... Но последнее — непонятные и кощунственные строки: Христос в белом венце — впереди двенадцати разбойников? До сих пор многие не могут принять этого заключительного видения поэмы. ⟨...⟩

Поэт, всю свою жизнь певший нам о нисхождении во тьму, о тоске и безнадежности русской, грешной ночи,— объявил, наконец, весть, радостней которой не было: Россия будет спасена; двенадцать разбойников, не ведавших, что творили, будут прощены. Пронзительным взором он проник в бездну бездн тьмы и там увидел не дьявола, но Христа, ведущего через мучительство разбойников ту, у которой плат окровавленный опущен на глаза.

Так любить, как возлюбил Россию Блок, мог бы только ангел, павший на землю, сердцу которого было слишком тяжело от любви».

Год спустя, в годовщину смерти поэта, Толстой в заметке «Памяти Блока», опубликованной в газете «Накануне» (Берлин, 1922, 13 авг.), повторил уже знакомый нам по «Падшему ангелу» мотив «спасения»: «Мы, живущие, разбивающие лицо об острый щебень дней, слишком спешим, чтобы прислушаться к полету вечности, слишком устали, чтобы любить, слишком обезображены, чтобы верить, слишком несчастны, чтобы надеяться на спасение. Чем оборонимся от дробления, распадения, вечной смерти? Чем победим?

И вечный бой. Покой нам только снится.

Плачь сердце, плачь...

Ангелы за нас. Ангелы оборонят, Ангелы победят...»

В чем же историческая ограниченность, слабость толстовского толкования «Двенадцати»?

Поэма в целом предстает в «Падшем ангеле» явно в упрощенном виде — как иллюстрация к событиям революционной действительности (в их специфически-толстовском восприятии).

Образ Христа, который, кстати сказать, станет камнем преткновения для многих будущих интерпретаторов поэмы, не вырастает в статье Толстого из всего образного строя «Двенадцати», а появляется неожиданно и связывается всего лишь с одной функцией — «спасения». А между тем этот образ связан буквально со всем художественным содержанием поэмы — и с образом автора, и с коллективным характером двенадцати красногвардейцев, и с персонифицированными образами Петьки, Ваньки и Катьки, и с сюжетом и композицией поэмы, со всей диалектикой мотивов и контрастов, соответствующих многосложно-противоречивой сути как объекта поэтического отражения (революции), так и самого этого отражения (поэтики Блока).

Очевидно, что блоковское понимание революции и ее художественное отражение в поэме «Двенадцать» не совпадают с тем образом революции, который складывается в статье «Падший ангел».

Однако оставались ли взгляды Толстого неизменными? В 1923 г. он вернулся на родину, и известное «Открытое письмо Н. В. Чайковскому» многое объясняет в его тогдашних умонастроениях, в духовных переменах, произошедших в нем в дальнейшем под воздействием самой жизни.

Статьей «Падший ангел» отношение Толстого к поэту не исчерпывается. Своеобразным продолжением «полемики» с Блоком стала фигура поэта-декадента Бессонова в романе «Сестры». Менее изучена, но крайне любопытна с точки зрения толстовской концепции образа Блока творческая история «Золотого ключика» [12]. Несколько новых штрихов к толстовскому восприятию Блока добавляют мемуаристы. «Помню зимний вечер в Барвихе в 1940 году,— вспоминает сын писателя Д. А. Толстой,— когда я заговорил с отцом о стихах. Шел разговор о Пастернаке. Отец помешал угли в камине кочергой и сказал: „Единственный гениальный поэт нашего века — это Блок. Хочешь, я тебе почитаю Блока? Принеси томик из библиотеки. Или нет, почитай лучше сам". Он говорил тогда о Блоке с подлинным восторгом, и я как-то вдруг осознал степень его почитания. Я спросил с недоумением, как же мог он, так любя поэта, вывести его в Бессонове. „Бессонов — это собирательный образ, это — больше последователи Блока, нежели он сам",— ответил он» [13]. И еще одно свидетельство — К. И. Чуковского: «Уже в старости он прочитал большой том переписки Андрея Белого с Блоком и говорил мне, что только теперь ощутил в полной мере подлинное величие Блока и научился преклоняться перед ним.

„Если бы я знал тогда его переписку с Белым, я написал бы своего Бессонова иначе",— говорил он мне в Ташкенте уже незадолго до смерти» [14].

В докладе на юбилейной сессии АН СССР 18 декабря 1942 г. Толстой несколько скорректировал свою прежнюю точку зрения: «настроение всеочищающей революционной метели, ворвавшейся в лживую и угрюмую жизнь, и вложил Блок в поэму „Двенадцать". В ней однако больше от поэтического устремления, чем от исторического понимания» (10, 544).

[1] К. Чуковский дает такую справку о В. Ленском: «Владимир Ленский — петербургский стихотворец, писавший еще более „темно и вяло", чем его прототип» (*Воспоминания*, с. 23).

[2] *Блок А.* Собр. соч.: В 8-ми т. М.; Л.: ГИХЛ, 1962, т. 5, с. 231. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

[3] *Воспоминания*, с. 68.

[4] Цит. по кн.: Лит. наследство. М.: Наука, 1982, т. 92, кн. 3, с. 134.

[5] Цитируется по кн.: *Щербина*, с. 86.

[6] См. его статью «О назначении поэта».

[7] *Толстой А. Н.* ПСС, т. 15, с. 327.

[8] *Воспоминания*, с. 340.

[9] *Толстой Д.* Начало жизни.— Нева, 1971, № 1, с. 124.

[10] Цитаты из нее даются нами по первой публикации статьи (*Толстой А. Н.* Падший ангел.— Последние новости. Париж, 1921, 21 авг.). Позже статья с не-

значительными изменениями вошла в книгу Толстого «Нисхождение и преображение» (Берлин: Мысль, 1922).

[11] *Воспоминания*, с. 85.

[12] См. об этом статью *М. Петровского* «Что отпирает „Золотой ключик"? (Сказка в контексте литературных отношений)».— Вопр. лит., 1979, № 4.

[13] *Воспоминания*, с. 233.

[14] Там же, с. 29.

А. Н. ТОЛСТОЙ И В. Я. БРЮСОВ. К ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

А. И. Хайлов

Известна характеристика литературных отношений А. Толстого и В. Брюсова, согласно которой Брюсов «верил в А. Толстого» и, критикуя отдельные произведения молодого писателя, исходил в своих суждениях из того, что было главным в нем,— его талантливости; Толстой же видел в Брюсове одного из лидеров литературного движения, опытного редактора и ценителя искусства, к которому в этом качестве не раз обращался [1]. Однако нужно заметить, что в отношениях Толстого и Брюсова были как взаимная заинтересованность, так и разноречия человеческого и творческого плана. Брюсов не принадлежал к числу тех людей, с которыми у Толстого возникла духовная близость. И сам неизменный характер обращений к Брюсову в письмах — «Многоуважаемый Валерий Яковлевич» — свидетельствует о существовавшей дистанции между писателями.

Брюсову было лестно взять под свое покровительство многообещающего молодого поэта. А для Толстого внимание Брюсова являлось особенно ценным в тот период, когда, оставив Технологический институт, он стремился оправдать свой новый выбор, утвердиться в литературе.

Сохранились ранние письма Толстого к Брюсову. И если первое из них, направленное из Парижа в 1908 г., содержит вежливый вопрос: «Могут ли пойти в „Весах" стихи мои, которые я прилагаю к письму» [2], то приподнятый тон второго письма (тоже 1908 г.) убеждает, что литературные отношения завязались и развиваются в желательном для Толстого направлении. «Многоуважаемый Валерий Яковлевич,— писал в нем Толстой,— очень, очень рад слышать от Вас мнение о стихах моих. Сознаюсь, мне было страшно свеситься на чаше Весов Ваших, но теперь я еще сильнее углубился в той исходной точке творчества, которая намечалась всегда и независимо от моих хотений» [3]. Уже в этом суждении Толстого чувствуется собственный взгляд на творчество; ясно выражена в нем и признательность Брюсову, который вместе с другими известными писателями заметил и поддержал Толстого.

Хотя Толстой, возвратившись из Парижа в Петербург, направляется к А. М. Ремизову, который, читаем в толстовском письме